

Человек ниоткуда.

*...И потому туман вдали
роднее нам, чем род и племя.
И внятней голосов земли.*

З.Миркина

Недавно одна девушка-фольклористка выходила замуж. Невеста и ее подружки исполняли вологодский свадебный обряд. Гости старались вжиться в свои архаические роли, тысяцкий (он, кстати сказать, был евреем) делал это довольно артистично. Но все было игрой. Старая вологодская деревня, в которой иначе справить свадьбу просто невозможно было подумать, где этот обряд, завещанный бабками, сберегли через тысячу лет, стала такой же экзотикой, как Таити. Девушки-африканистки могли бы исполнять танцы с тамтамом, а студенты-индологи – танцы Радхи и Кришны. Все это одинаково легко входит в стены московской квартиры.

То, что было когда-то единственным, жизненно необходимым занятием, становится игрой, одной из многих игр, которую можно полюбить или отбросить. Австралийцы, бушмены, пигмеи живут тем, что собрали за день в лесу или в пустыне; мы ходим по грибы. Крестьяне вкладывают в землю всю свою жизнь, мы окапываем яблони на десяти или тридцати сотках. Это хорошая игра. В ней часто больше творческого, чем в будничной умственной работе. Но можно ничего не собирать в лесу, кроме солнечных зайчиков, и это даже лучше. А грибы или яблоки продаются на базаре. Всерьез мы работаем головой за своим письменным столом. Всерьез мы живем в Вавилоне, а в Аркадию только играем.

Мы едим хлеб, сжатый и обмолоченный людьми, которых по привычке называем крестьянами, но мы не живем в крестьянском обществе, мы не окружены народом. Крестьянства в развитых странах становится слишком мало, чтобы окружать нас. В Соединенных Штатах сельским хозяйством занимается 7 процентов населения. Больше не нужно, чтобы обеспечить остальные 93 процента хлебом, маслом и молоком (в США – 300 литров на человека в год. В Индии – 6 литров. Сколько у нас – Бог весть). Даже остаются излишки, чтобы подкармливать крестьянскую Индию, где хлебопашествует 80 процентов населения.

Фермеров в США меньше, чем студентов и профессоров университетов. Но главное то, что фермер – уже совсем не крестьянин. Это работник сельского хозяйства в научно-промышленном обществе. Он гораздо дальше от крестьянина, чем традиционный ремесленник (труженик города в обществе, костяком которого было крестьянство). Возьмем еще более крайний, еще более парадоксальный случай: в Израиле кибуцники, образцовые сельские хозяева, у которых учатся агрономы Африки и Юго-Восточной Азии, создали Лигу борьбы с религиозным принуждением. Это носители «городского» мировоззрения. А ремесленники, вывезенные в 1948 году на самолетах из Йемена, бросают камни в автомобили, нарушающие день субботний.

Крестьяне и ремесленники вместе берегли как зеницу ока веру отцов, обряды отцов и составляли народ – с народными песнями, с народной вышивкой и народными предрассудками. А что поют колхозники? Да то же, что пролетарии. Какие-то остатки крестьянского наследства, какие-то мелодии, вбитые в школе, в армии, по радио.

Крестьянство исчезает. Оно оставило глубокий след в нравственном и эстетическом сознании человечества, оно было мостом между племенем и чем-то еще, что еще только складывается. Но оно исчезает.

Кажется, что этого не может быть. Что народ и общество – неотделимые понятия, что народ с историей – близнецы-братья, и там, где есть общество, история, непременно должен быть народ. Но где он, этот народ? Настоящий, народный, пляшущий народные пляски, сказывающий народные сказки, плетущий народные кружева? В нашей стране остались только следы народа, как следы снега весной, островки снега в глухих углах леса. Есть еще углы, где можно записать вологодский свадебный обряд, где доживают свой век старуха Матрена и реабилитированный Иван Денисович. Но народа как великой исторической силы, станового хребта культуры, как источника вдохновения для Пушкина и Гоголя – больше нет.

Пролетариат городской и сельский заменил народ в политической жизни, но не в духовной жизни общества. После всех попыток Пролеткульта, пролетарского искусства и великой пролетарской культурной революции в Китае от рабочего ничего уже и не ждут в этой области. К нему обращаются только тогда, когда надо посечь очередного интеллигента. И тогда газеты печатают интервью: «Я не читал Пастернака, но...» Или бригады двоечников, срезавшихся на экзаменах, вводят в университет, чтобы бить студентов, как в Варшаве в 1968 г. (С тех пор в Польше многое переменялось и возникла солидарность рабочих и интеллигентов. Но это особая тема.)

Класс, вызванный к жизни первым промышленным переворотом, выросший, как на дрожжах, до 50 процентов населения, создал профсоюзы, советы, забастовки и т.п., без чего нельзя представить себе XX век, создал некоторый дух солидарности в борьбе с притеснением, но ничего положительного, ничего такого, что способно оставить прочный, долговечный, вековечный след. Нет никакого особого пролетарского нутра. То, что было названо пролетариатом, в духовном отношении ничем не отличается от остальной урбанизированной массы. Это просто нижний слой ее, без всяких провиденциальных перспектив.

Я помню, на лекции по фольклору профессор Соколов каялся, что в бытность свою буржуазным ученым занимался только крестьянским фольклором и недооценивал пролетарский. После этого перекованный Юрий Матвеевич посвятил целую лекцию, а может быть, даже две фабричной частушке. Запомнилась одна, в которой он нашел богатые созвучия и главное – ярко выраженное пролетарское классовое сознание:

Инженеру Покатило
Рожу паром обварило,
Жалко, жалко нам, ребята,
Что всего не окатило!

В первые годы после революции пелись революционные песни, сложенные интеллигентами – народниками и марксистами. Потом пошла в ход блатная лагерная песня, песня вычеркнутых из списков «пролетарской» общественности. А сейчас началось время интеллигентского фольклора. Открылся «животворный родник», из которого хлынули песни, стихи, проза, философские эссе, абстрактная и конкретная живопись.

Герою Синявского мерещится, что весь Союз пишет, что в каждом окошке графоман.

Родник бьет снизу – мимо официальных писательских организаций. Но это совсем не народные низы. Скорее это верхи в смысле образованности. Пишет очень широкий слой – от шофера такси Алешковского до профессора математики И. Грековой-Венцель, но явно преобладают верхи. Появилась потребность осознать себя духовно, оставаясь ученым, интеллектуалом, не бросая своего НИИ. Это какой-то Ренессанс наизнанку. Тогда художники (оставаясь художниками) становились математиками. Сейчас математики (оставаясь математиками) становятся художниками и поэтами. Если правда, что нет народа без песни, то именно здесь складывается хребет нового народа – или, быть может, нового слоя, несущего в себе занародную правду и занародную песню. И так же как не прав бушмен, для которого переход к крестьянскому труду –

святоотатство, не прав и крестьянин, для которого уход от власти земли, крови, родства, «веры отцов» – святоотатство. Культура, как змея, просто сбрасывает кожу, и старая кожа – народ – лежит, потеряв свою жизнь, в пыли. Это парадоксально только по-русски. По-английски folk (архаический народ, носитель фольклора) давно исчез, и нетрудно представить себе, что people тоже исчезает.

Любопытно, что наши менестрели – какой-то сброд космополитов: полугрузин-полуармянин, еврей, полукореец. Есть, конечно, и чистокровные русские, но решительно без почвенной основы: не дети, а внуки и правнуки крестьянского народа, стоптанного прогрессом в безликую слесарно-бухгалтерскую массу, в которой Сталин брал своих абакумовых и РЮМИНЫХ...

Можно, конечно, называть народом любую массу трудящихся: язык без костей. Тогда слесари и бухгалтеры, ткачихи и следователи суть народ. Песни, передаваемые по радио, суть народные песни. А Окуджава, Галич, Ким, Высоцкий – гнилые интеллигенты, подвергшиеся растленному влиянию Запада (так это, кажется, звучит на языке супруга товарища Парамоновой). Но где парамоновские обряды и плачи, песни и пляски? Где парамоновская нравственность?

Мое замечание об исчезающем крестьянстве, высказанное впервые в полемике с М.А.Лифшицем, шокировало почвенников.

Но что делать! Не я придумал (это сделала история), что крестьянские нации СУТЬ голодные нации, а нации, в которых крестьянство исчезло, – это нации, в которых исчез голод. Я не виноват, что сейчас обществу выгоднее большую часть сил тратить на умственную работу, а совсем малую – на обработку земли.

Впрочем, численно второстепенная группа не означает группы, без которой можно обойтись, от которой можно отвлечься. Мои оппоненты, видимо, стихийно исходят из архаической модели народа, в котором крестьянские общины, живущие натуральным хозяйством, могут веками обходиться без города, а город без них и году не проживет. Сейчас такое общество сохранилось только в джунглях. Сейчас все группы зависят друг от друга, и в этом едином обществе ни одна группа не вправе считать себя коренной. Вопрос можно поставить только так: какая группа, добившись того, чего она хочет, способна изменить к лучшему все общество? Крестьянство или интеллигенция?

На этот вопрос ответил опыт Польши и Чехословакии.

В 1956 г. Гомулка распустил большинство колхозов и дал крестьянам окрепнуть. В результате было восстановлено консервативное село, и на него сегодня опираются самые реакционные в Восточной Европе «кадры». Напротив, в Чехословакии в январе 1968 г. победила интеллигенция, добившаяся прежде всего свободы слова. Казалось бы, какое дело до этого рабочим и крестьянам? Но интеллигенция немедленно растолкала все общество, и вся страна пришла в движение. Там, где интеллигенция свободна, всем открыт доступ к свободе. Там, где интеллигенция в рабстве, все рабы. Поэтому и только поэтому я против чрезмерного акцента на важности деревенских проблем, на трагедии крестьянина. Трагедия бесспорна. Деревенские проблемы надо решать. Но если не решена проблема интеллигенции, страна в целом останется во тьме.

Интеллигенция может быть средоточием всех земных пороков. Но только в ее среде возникает требование свободы слова. Только в ее среде живет Самиздат. Ни рабочий класс, ни крестьянство, ни бюрократия не нуждаются в свободе слова так, как ученый и писатель. Поэтому люди творческого умственного труда становятся избранным народом XX века.

Группа, второстепенная с точки зрения социолога, может быть, однако, первостепенной для писателя (например, бедные белые Юга США для Фолкнера), и писатель может раскрыть в жизни этой группы величайшие духовные ценности. Я горячий поклонник «Матрениного двора». Но я против переноса в современность комплекса неполноценности, с которым русский кающийся дворянин прошлого века подходил к мужику (или птичнице):

Чьи работают грубые руки,

Предоставив почтительно нам
Заниматься искусством, наукой...

Нельзя подходить к современному учителю или врачу с мерками Некрасова и корить его легкой работой. Работа интеллигента (если говорить о миллионах, не имеющих ученых степеней) совсем не легкая, совершенно необходимая для общества (успешного с XIX века сильно измениться) и оплачивается в нашей стране из рук вон плохо. Я не могу согласиться с противопоставлением ученого птичнице в «Письме физику» (ходившем одно время по рукам). Я не думаю, что ученый непременно должен испытывать угрызения совести перед птичницей – так мало он работает сравнительно с птичницей, и так мало действительной пользы людям приносит его труд. Я не хочу сказать, что ученых не подкупают, не протитируют. Это делается, и достаточно часто (так же как в деревне, где подкупают и протитируют «знатных доярок», героев социалистического труда и т.п.). Я не хочу сказать, что ученые всегда заняты полезным делом. Достаточно часто они занимаются делами, ничуть не более полезными, чем сверххранить сев и другие начальственные затеи.

Я глубоко сочувствую попытке вызывать у протитируемых ученых угрызения совести. Но почему только перед птичницей? Почему не перед учительницей, слепнувшей над тетрадками, не перед загнанным амбулаторным врачом? В подчеркивании ответственности перед птичницей (по некрасовскому образу) есть своя опасность (отсутствовавшая в некрасовские времена). Эта опасность в том, что поддерживается народный предрассудок, по-старому смешивающий всякий умственный труд с барством, и сталинская политическая традиция, основанная на этом предрассудке: 1) всякий человек с авторучкой называется интеллигентом; 2) народная ненависть, вызванная некоторыми людьми с авторучкой, поровну раскладывается на всех; 3) в критические минуты некоторые люди с авторучкой тактично забывают, что сами себя называли интеллигентами, и в качестве слуг народа науськивают массы на действительную интеллигенцию, ищущую чего-то лучшего.

Совершенно необходимо улучшить положение птичницы, скотницы, тракториста, но не их одних! Проблема птичницы имеет нравственную первоочередность, если птичница голодает, а работники умственного труда получают несправедливо много. Но такое положение существует только в слаборазвитых странах и исчезает вместе с развитием. Вот соответствующая таблица:

Недельный заработок в долларах

Профессия

Город Строитель Бухгалтер Секретарша

Нью-Дели 3,33 40,00 18,50

Бейрут 20,00 180,00 53,00

Белград 25,00 40,00 30,00

Токио 44,00 40,20 50,00

Стокгольм 122,64 94,64 88,02

Нью-Йорк 248,00 127,50 125,00

Отвлекаясь от местных различий в оплате мужского и женского труда и от особенностей Ливана (в котором буржуазия получает гигантские сверхприбыли на блокаде Израиля и делится этими прибылями с ближайшими служащими, но не с рабочими), можно заметить, что в развитых странах умственный труд перестает быть привилегией барства, становится рядовой профессией и оплачивается хуже, чем квалифицированный ручной труд. Чувство вины перед народом, естественное в Нью-Дели, теряет смысл в Токио, становится нелепым в Стокгольме.

Какое положение занимает в таблице Россия, трудно сказать. Во всяком случае, от Индии мы давно оторвались. Остальное – дело времени и технико-экономического прогресса. Именно технико-экономического: структура зарплаты в Югославии и в Испании, политически несходных, почти совпадает (в Испании, пожалуй, больше уважают женщин). Поглядывая на таблицу, хочется сказать, что есть много тяжелых и неприятных форм умственного труда. Развитие науки, освободив мышцы, так перегрузило голову, нервы, что миллионы людей приходится брать на учет к психиатру. Я не думаю, что труд инженера-экономиста веселее косьбы. Не надо считать человека благополучным просто потому, что он работает под крышей и страдает от головной боли, а не от мышечной усталости. Если городскому человеку нельзя есть яичницу без угрызений совести, то ведь, пожалуй, нельзя и на стульчак сесть без угрызений совести (перед ассенизатором, например. Страшно подумать, во что превратился бы современный город без ассенизаторов. Легче было бы обойтись без многого другого). Птичник, который волнует сейчас многих, отвратителен. Но ведь это ад не только для людей, но и для кур. Это очень плохой птичник. Наша страна импортирует битую птицу и яйца – своих не хватает. Как, впрочем, и хлеба в иные годы. Никакой всемирно-исторической необходимости в этом нет, просто порядок, заведенный в сельском хозяйстве, очень плох, и надо ввести какие-то другие порядки, проверенные опытом других стран. Мы еще не выполнили свой долг перед птичницей. Но по крайней мере известно, как это сделать. А как быть с младшим научным сотрудником Акакием Акакиевичем, пожизненно осужденным готовить бумаги Значительному лицу? Этого никто не знает, и мы в потемках ищем ответа одновременно с Европой и Америкой, которые по крайней мере о птичнице могут не думать. Потому что мы не только страна плохих, неэффективных колхозов, но и страна эффективных ракет. И наряду с провинциальными задачами, общими для слаборазвитых стран, мы вынуждены решать и задачи современные, «модернистские» И мне бы хотелось, чтобы мы не забыли об этой стороне дела, требующей больших усилий мозга (потому что это как раз сторона неразведанная).

Что бы ни творилось в деревне, как бы ее ни калечили, большинство сельских работ по природе своей здоровее и веселее, чем работа в горячем цеху или поиски ошибки в платежной ведомости. Толстой косил, ходил за плугом, но я не видел человека, который по своей охоте шел бы делать из вонючей резины галоши или редактировать библиографический указатель. Прimitивные формы труда основаны на живом внутреннем ритме или на прислушивании к ритму окружающей человека природы. Они сохраняют свою ценность и тогда, когда теряют экономический смысл. Мы не жалеем потратить целый день, чтобы поймать несколько рыбешек, выращиваем в комнате лимоны, печем в духовке пироги (хотя кондитерская за углом) и прочее. К сожалению, основная наша работа совсем другая – механическая, опустошающая. Только очень небольшое меньшинство способно получать деньги за творческий труд. Я к этим счастливицам не отношусь и то, что давало смысл моей жизни, делал бесплатно, я работал грузчиком умственного труда, почтовой лошадей. Уверю вас, господа почвенники, это не синекюра.

Что же делать? Один мой знакомый сказал, что из искусственного положения приходится искать искусственный выход. Такой выход – сервис, т.е. компенсация за потерянные нервы. Мышечную силу можно было нахлестывать кнутом, силу ума – только пряником. Начиная с парикмахерской, в которой три мастера ждут одного клиента, кончая музыкой, поэзией, живописью. Спешу оговориться: речь идет не об одной ученой элите. Это общий уровень человеческих отношений, на который вышли все северные страны (кроме нас) и к которому быстро приближаются страны, расположенные южнее (Италия, Япония, Израиль).

К сожалению, и этот уровень недостаточен. И на нем главная проблема остается нерешенной: проблема духовного вакуума.

Теплый хлев с холодильником, автоматической подачей корма и зелеными лугами по телевизору был бы совершенно достаточен для скотины, но человек, попавший в этот рай, не чувствует себя счастливым. Он работает, хорошо работает, он много производит и много потребляет, но ему потихоньку становится тошно. И тогда он норовит поддать пинка роскошным автоматическим устройствам, на которые с такой завистью смотрят народы Азии, Африки и Латинской Америки.

Народы, узнавшие из голливудских картин про сладкую жизнь, но не научившиеся еще организовывать жизнь по-американски и обвиняющие в своей бедности империалистов, сионистов и советских ревизионистов.

Северные страны решили экономическую проблему, создали пролетариям в синих и белых воротничках буржуазную жизнь, лечат пролетариев в хороших лечебницах, дают возможность провести отпуск на взморье – словом, сделали все, на что способна хорошо развитая наука. Но наука не может научить пролетария чувствовать ритм облаков на заре и повторять его на свирели, как делал пастух в холщовых портах, никогда не видевший синего моря.

Наука знает очень много вещей и может узнать еще больше, но смысл жизни – это не вещь. Его нельзя ясно очертить, его нельзя «формализовать» Он дается, может быть, мудрости, но мы совсем забыли, что такое мудрость. Мы умеем готовить хороших ученых, но у нас нет даже посредственных мудрецов. Мы точно, научно, изящно решаем точно очерченные проблемы – и стоим в тупике перед целым: голову вытащим – хвост увязнет. Хвост вытащим – голова увязнет.

Основных проблем, вставших перед человечеством, мы в нашей стране давно не сознаем. Борьба с местными нелепостями провинциализировала наш дух: это видно даже по лучшим произведениям нашей литературы. Подобно Испании XVII века, мы боремся с трудностями, которые сами себе создаем, и постепенно изнемогаем в этой борьбе.

Мы все еще (как в XIX веке) считаем экономику первичной, строим домны, когда нужна химия, и большую химию, когда нужна эстетика, чтобы стимулировать серое вещество мозга. Мы загородились пограничниками от утечки мозгов и не замечаем, что мозги уходят во внутреннюю эмиграцию. Мы все время догоняем по заброшенной дороге, все время исходим из постулата, что история идет по прямой, а она кривая, она изменяет направление.

Есть любопытные социологические законы, например закон постоянного упадка удельного веса труда, прямо связанного с удовлетворением элементарных потребностей, и выдвижения все более далеких от домоводства форм деятельности. Физиократы ошиблись, думая, что крестьянский труд навсегда сохранит доминирующее положение в обществе. Экономисты XIX века ошиблись, думая, что такое положение сохранит промышленный труд. Сейчас на первое место выдвинулось производство научно-технической информации, но было бы наивно думать, что это конец, за которым невозможны никакие другие сдвиги. Они не только возможны, но прямо необходимы. Рост значения умственного труда вызывает новую задачу – производства творческого состояния, производства такого состояния мозга, при котором он решал бы свои задачи играя. Так же, как мощная промышленность удесятерит силы земледельца, сфера, занятая производством творческого состояния, удесятерит силы физика или математика и делает ненужным загонять в ученые половину населения. Это очень широкая сфера: спорт, туризм, искусство, обрядность, психотехника йоги или дзэн. Можно вспомнить слова одного из образованнейших людей XX столетия, О.Хаксли: заниматься мистическими упражнениями так же полезно, как чистить зубы.

Есть закон падения удельного веса доминирующей формы труда.

Бушменский род целиком занят охотой и собиранием съедобных корешков. В крестьянских нациях 80-90 процентов населения заняты сельским хозяйством. Удельный вес пролетариата не превысил 50-55 процентов и в США начал падать (в настоящее время до 37 процентов самодеятельного населения). Маловероятно, чтобы количество ученых когда-нибудь достигло и трети населения. Старые занятия не исчезают. До сих пор есть профессиональные охотники, рыболовы. Никуда не денутся, а только отодвинутся в тень и земледельческий и промышленный труд, и организация порядка, бюрократия (в веберовском, а не ругательном смысле этого слова).

Одновременно появляются новые и развиваются старые «занаучные» формы деятельности (т.е. еще более далекие от экономики). Общество становится все более плюралистическим, все более сложным. Ничего подобного старому монолитному народу впереди не маячит. И ни ученые, ни какая-либо другая группа производителей вакантного места народа не займет.

Производство вообще перестает быть главным человеческим делом. Забота о пропитании в развитых странах отодвигается на второй план. И вместе с этим на второй план отодвигается борьба за власть над природой. С тех пор как средний человек и при нынешней власти над природой не знает, что делать со своим досугом, и бунтует, как американский битник, не от голода (он сыт), а по каким-то другими, психологическим мотивам, – дальнейшее расширение власти над природой теряет право первородства. Приходится напомнить, что никакая власть не дает счастья. В том числе и такая утонченная власть, как знание. Мы счастливы скорее тогда, когда все забываем. Никакая наука не научит нас, чем заполнить свой досуг. «Цивилизация досуга», о которой сейчас много говорят и пишут, это не цивилизация науки.

Устойчивость всякой культуры и внутренняя устойчивость личности основаны на равновесии дела и праздника. В идеале они сливаются:

Непостижимо то, что Господом зовут.
Его покой в труде, в Его покое труд.

Божество, каким Его представлял себе Ангелус Силезиус, немецкий поэт XVII в., в каждый миг созерцания действует и в каждый миг действия остается погруженным в праздничное созерцание.

Но обычно дело и праздник выступают каждый сам по себе. Дело – функция обособленной единицы (личности или группы людей). Праздник – подхваченность волной, в которой тонет, смывается все личное или узкогрупповое, ясно очерченное, закрепленное рассудком.

Обнимитесь, миллионы!

Были эпохи, ценившие праздник выше дела. Самая близкая нам началась со слов Христа: «Марфа! Марфа! Ты заботишься и суетишься о многом...» (От Луки, гл. 10, 41). Праздную Марию Иисус поставил выше деятельной Марфы. И в течение всех средних веков люди жили под знаком этой притчи, не придавая большой ценности делу. Не сходить на праздник в церковь считалось гораздо большим грехом, чем плохо работать.

Однако Иисус сеял в вечности. Во времени Его семена падали на каменистую почву. Даже столпников надо чем-то кормить, а способы возделывать землю Христос не изменил. И по мере того как равновесие праздников и будней, нарушенное при распаде племенных культов, было восстановлено, дело снова поднялось в цене. По крайней мере в Европе, сохранившей закваску римских деловых людей. На рубеже XIV в. Мейстер Экхарт пересказывает притчу о Марфе и Марии на свой лад. Из глубины созерцания, говорит Экхарт, рождается новый порыв к действию. Этот порыв выше пассивного созерцания, Марфа выше Марии. Созерцание – только ступень, на которой деятель освобождается от суеты, от себя, раскрывается перед Богом. Когда же Бог наполнит душу, наступает второй час действия – действия, вдохновленного Богом (примерно так, как это описано в пушкинском «Пророке»).

Таким пророческим движением Макс Вебер считает европейский протестантизм (мистика которого, говорят, связана была с традицией Экхарта и других еретиков средневековья). А из него, по Веберу, выросло Новое время... Может быть, на самом деле оно сложилось и не по Веберу. Но поворот к делу действительно наступил. Прошло несколько веков, и Гёте поставил Дело взамен самого Слова Божьего. Фауст дерзко переводит «Логос» немецким «Tat» – дело, деяние, поступок.

Еще через сто лет это было пересказано прозой: «Философы только объясняли мир. Задача заключается в том, чтобы его переделать».

...Оглядываясь назад, можно увидеть, что Новое время было только последней волной длинного процесса «рационализации» человеческих отношений к природе, начавшегося давным-давно, где-то в глубинах каменного века (и только пошедшего в Новое время скорее). По крайней мере несколько тысяч лет, всю историю цивилизации человек учится работать. Он еще сейчас учится в слаборазвитых странах. Но в Европе усердный ученик исчерпал себя. Современный поэт не повторит слова Фауста: «В начале было Дело!» Скорее он скажет вместе с О.Мандельштамом:

Есть блуд труда, и он у нас в крови...

Говоря в терминах Маркса, мы слишком хорошо усвоили 11-й тезис и слишком мало думаем о другой, более глубокой мысли, изложенной в третьем томе «Капитала»: «Царство свободы начинается по ту сторону производства, диктуемого нуждой и материальной необходимостью...». С этой точки зрения чисто деловой подход к «производству творческого состояния», который я изложил, оказывается недостаточным, мелким. Праздник нужен не для чего-то, а для самого себя. Именно в нем, а не в работе человеческая душа достигнет своей естественной или божественной широты.

Я праздник твой, воскресный отдых твой,
Твой день седьмой, твое седьмое небо!

М.Цветаева

Но праздник есть только там, где есть благоговейная отдача себя чему-то высшему, чем дело. Праздник невозможен без по крайней мере минуты благоговения. Отнимите у Нового года – единственного праздника, который у нас остался, – минуту благоговения, какого-то мистического трепета перед стрелкой часов, подошедшей к двенадцати, и праздника не будет. Останется только пьянка. А иногда, перед пьянкой, – официальная скука.

Все это относится и к внутреннему празднику, к «празднику, который всегда с тобой», по выражению Хемингуэя. Если нет чувства святости природы, то что останется от вечерней зари? Время, в которое можно пройти с похабной частушкой. Если нет отношения к женщине как к святому причастию, то, что останется от праздника любви?

Равновесие дела и праздника сохранилось в примитивных культурах, племенных и народных. В этом их неуязвимая прелесть. Но это – обрядовое равновесие, тесно связанное с исчезнувшими и исчезающими формами труда. То, что могло войти в городскую цивилизацию, уже вошло в церковную обрядность, и возвращать ее назад к язычеству невозможно. Достаточно прекратить травлю церкви, восстановить естественную роль ее в современной культуре по примеру других цивилизованных стран. Но в современных условиях едва ли не важнее всего внутренний праздник, а его как раз народу не хватало. Созерцание природы, созерцание искусства, любовь – все это совершенно не народно. По крайней мере в России. Есть, конечно, Япония с ее любованием цветущей вишней и горой Фудзи, но это экзотика. Любовь?... За народностью любви пришлось бы ехать в тридевятое царство, в тридесятое государство – к племени Азра (узритов) в древней Аравии.

Я из рода бедных Азра.
Полюбив, мы умираем...

Г.Гейне

Трубадуры, миннезингеры – это штука шляхетная, рыцарская и по преимуществу европейская. У

нас – одна из вольностей дворянских. Мужичье отношение к любви недавно напомнил нам А.И.Солженицын: «Женятся для щей, замуж выходят для мяса»

То, что было у нас в народе хорошего (правда-истина-справедливость) – в обломках. По народной же поговорке, на том месте, где была совесть, вырос... (знатоки народности заполняют здесь пробел). Все тяжелое, тупое, темное надежно опирается на массу персонажей Галича, Высоцкого и Алешковского, массу, духовное состояние которой выражено в «Советской пасхальной»:

...Давай закурим опиум народа,
А он покурит наших сигарет.

* * *

Заговорив о любви к дальнему, о любви к чужому, я вступаю на опасную дорогу. По правилам, установленным для варшавских студентов, можно любить только одну нацию. Так же как можно болеть только за одну футбольную команду, одну балерину, одного тенора. Лучше всего – передавая эту простую, однозначную привязанность по наследству. На худой конец – корпорация болельщиков может усыновить вас. Но ни в коем случае нельзя болеть за две, три, пять команд сразу.

Это космополитизм. Идея интернационализма остается вне спора (о догмах не спорят), но чувство может быть только простым, однозначным. Или вы за «Торпедо», или за «Спартак» Если вы чувствуете своими одновременно Польшу и Израиль, то «этого не может быть, потому что не может быть никогда» (А.Чехов), потому что это противоречит психологии футбольного болельщика, а другой, более сложной психологии пан Гомункулус не понимает. Тот, кто привязан более чем к одной традиции, с его точки зрения, не любит ни одной.

И вообще, о чем говорить? Духовный кризис? Но классиков издают миллионными тиражами. Упадок культуры? Но Литфонд, Худфонд и прочие фонды выдают инженерам человеческих душ большие субсидии. Остается только развести руками и смолкнуть, как Достоевский, пересказав историю гоголевского поручика Пирогова. Тут простодушие, которое ставит в тупик. Никакого противоречия между научно-техническим и духовным развитием функционер не чувствует. Он твердо идет по намеченной колее, как И.В.Сталин, как паровоз, тянущий за собой целую кучу вагонов. Он просто не понимает, что все прямые дороги истории ведут в тупик, что железная воля кончается грудой железного лома. В этой тупости деятеля (отмеченной еще в «Записках из подполья») – секрет «чудодейственной воли» сталинистов, воспетой Горьким, воли, перед которой трепетали размагниченные интеллигенты, воли, по которой до сих пор тоскуют многие простые люди России. Есть только одно направление развития, одна колея. Техника в период реконструкции решает все. И нет таких крепостей, которых большевики не могли бы взять.

На строительство школ, техникумов, университетов расходуются миллиарды. Количество людей, получивших среднее и высшее образование, растет. Интеллигенция имеет ясную и простую задачу – помогать развитию экономики, а также помогать функционерам крепить духовное единство (болеем за нашу футбольную команду, наше правительство, наши органы охраны порядка).

Других, непонятных невеждам, духовных потребностей нет, потому что народ этих потребностей не имеет (в этом пункте пан Гомункулус отчасти прав). Крики о духовном голоде – романтическая чушь, происки классового врага или беспокойство евреев, которые вовремя не уехали в Израиль и поэтому сами не могут по-человечески жить и других сбивают с толку. Мы дадим им паспорта – пусть едут в Израиль.

А если я не хочу ехать? Если я кровью связан с этой страной, но люблю и другие? Если

Слаще пеня итальянской речи
Для меня родной язык,
Потому что в нем таинственно лепечет
Чужеземных арф родник...

О.Мандельштам

Что же мне делать тогда, пан Гомункулус? Если правы вы, для меня нет места на земле. Если я прав – вы динозавр, и место ваше в палеонтологическом музее.

В марте 1968 г. в Польше (если судить о ней по прессе) возникла прискорбная, но математически очень красивая ситуация (трагическое вообще «красиво», эстетически ценно). На одной стороне – интеллигенция, томимая духовным голодом XX века. На другой – все остальные, для которых шляхтичи, не способные примириться с холопским руководством культурой, просто с жиру бесятся. Поражение интеллигентов можно было предсказать: духовные интересы никогда еще не побеждали в таком чистом виде, без смеси с чем-то вполне материальным, без союза с буржуазией, пролетариатом или кем-нибудь еще. Сами по себе Турбины могут только красиво погибнуть. Но зато в предельной ситуации (которой не дай нам Бог!) есть огромное теоретическое преимущество: видно, что собой представляет интеллигенция в чистом виде, без примесей, интеллигенция сама по себе.

Это часть образованного слоя общества, в которой совершается духовное развитие, в которой рушатся старые ценности и возникают новые, в которой делается очередной шаг от зверя к Богу. И если считать, что процесс гоминизации, очеловечения человечества еще не окончился и что это важнейший процесс истории, то интеллигенция – это и есть то, что интеллигенция искала в других – в народе, в пролетариате и т.д.: фермент, движущий историю. Если ему удастся вызвать брожение не только в себе.

Один из моих друзей заметил, что этого слоя теперь нет. Что если исчез народ, то интеллигенция тоже исчезла; что человек в обеих своих формах, любимых Монтенем, – и как философ, и как простой мужик – сейчас выводится, растворяется в массе. Однако масса – это только полуфабрикат, аморфное состояние между двумя кристаллическими структурами, между двумя устоявшимися системами ценностей. Был век Перикла, потом наступил век Отцов Церкви, а между ними – римская масса. И нынешняя масса вполне может оструктурироваться, если появится стержень, веточка, пусть хрупкая, вокруг которой начнут нарастать кристаллы. Вот эту роль веточки, опущенной в перенасыщенный раствор, я отвожу лучшей части интеллигенции. Я не говорю, что интеллигенция вся есть эта веточка, этот стержень. Я просто верю, что она может измениться и потянуть за собой других. Я убежден, что другого выхода нет, что человеческая веточка скорее возродится как полноценный интеллигент, чем как оперный мужик. И масса может заново кристаллизироваться в нечто народоподобное только вокруг новой интеллигенции, создавшей в себе самой новый духовный стержень. Мне кажется, это подтверждает пример Чехии. Достаточно сравнить, чем она была в 1952-м, в 1956-м и чем стала в 1968 году.

Словом «интеллигенция» сейчас называют слишком много разных явлений. С точки зрения нынешней русской кухни, использующей интеллигенцию как начинку для своих кулебяк, интеллигенция – это фарш, который можно любым способом сварить на пару, изжарить, обвалить в тесте, испечь и, наконец, с перепоею жрать сырьем, с кровью, в собственном соку. Но, даже отвлекаясь от этих нарушений законности, понятие интеллигенции очень трудно определить. Интеллигенция в самой жизни еще не устоялась.

Иванов-Разумник определял интеллигента как критически мыслящую личность. Министр внутренних дел фон Плеве говорил, что «интеллигенция – это та часть нашего образованного

общества, которая с наслаждением подхватывает всякую новость и даже слух, клонящиеся к дискредитированию правительственной или духовно-православной власти; ко всему же остальному относится с равнодушием». Словарь Вебстера расширяет слово «интеллигенция» так: «русские интеллектуалы, обычно в оппозиции к правительству». Были попытки определить интеллигенцию как читателей «Нового мира», как читателей Самиздата, как людей, способных вырабатывать и сохранять собственное мнение, несмотря на любые усилия пропаганды (возврат к Иванову-Разумнику). Во всех этих определениях есть общая черта: проводится граница, и то, что лежит по одну сторону ее, объявляется интеллигенцией, а то, что по другую, – нет. Получается примерно такая структура образованных слоев: 1) кадры, вросшие в государственный аппарат и болеющие за интересы этого аппарата, как за самих себя (потому что они и есть государственный аппарат); 2) мещанство, более равнодушное к общим делам и болеющее скорее за свои мелкие делишки, а также за игрушки, которые ему дают: за «Динамо», за «Спартак», за наших советских космонавтов, за наш национальный престиж (разница между мещанином и «кадром» в оттенках: то, что для одного главное, для другого – второстепенное); 3) интеллигенция, болеющая за то, что не положено, что не подсказано газетой, радио, телевидением.

Эта статическая модель годится для описания современного положения в России, но совершенно не объясняет таких социальных сдвигов, как в Чехии, когда даже известная часть кадров, даже большинство ЦК становится интеллигентным. Поэтому приходится строить другую модель: интеллигенции без границ, интеллигенции как излучения, имеющей свой центр, свой максимум интенсивности, но принципиально не имеющей пределов. Центр интенсивности – это даже не прослойка, а кучка людей, о которых я говорил выше как о пионерах на пути от зверя к Богу. Это очень узкий круг мужчин и женщин, способных самостоятельно открывать вновь святыни, ценности культуры, затоптанные в деловой спешке (открывать или развивать заново, а не только «критически мыслить»). Затем следует относительно широкий круг людей, занятых своими профессиональными задачами, но неспособных заниматься ими без внутренней тревоги и страдания за судьбу человечества, нации, угнетенных, культуры, искусства, религии, истины, справедливости, иногда даже одной какой-то ценности при слабой чувствительности к другим (есть интеллигенты истины, интеллигенты справедливости и т.п.). Это, так сказать, «одушевленная интеллигенция» (или собственно интеллигенция, если жестко провести границу). Дальше следует интеллигенция неодушевленная, в этическом отношении ничем не отличающаяся от мещанства, но более развитая интеллектуально и поэтому способная понять цели и ценности одушевленной интеллигенции и несколько одушевиться ими, если обстоятельства это разрешают, если это не очень опасно и отчасти выгодно. Без потенции к одушевлению можно было бы вовсе не считать ее интеллигенцией, а назвать как-то иначе (специалистами, например; этот слой Солженицын назвал образованщиной); но потенция существует, когда интеллигентность в чести, неодушевленная интеллигенция окружает мэтров снобистским почитанием и вешает в гостиной «Подсолнухи» Ван-Гога. Когда интеллигентность не в чести – усваивает мораль буйвола, строит газовые камеры для упразднения мэтров, а в гостиной вешает что-то вроде «Трех богатырей».

Модель излучения хорошо описывает сдвиги к лучшему, процесс расширения интеллигентности. В рамках этой модели «кадры» постепенно пропитываются интеллигентностью и ведут себя как прочие интеллигентные специалисты, как группа специалистов-администраторов. В духовном отношении они ни на что не претендуют. Однако модель N 2 никак не объясняет сдвигов к худшему – к фашизму, например. Она не объясняет, почему интеллигенция, начав борьбу под знаменем свободы, так часто приходит к шигалевщине. Почему чуть ли не половина гауляйтеров – бывшие учителя (гимнастики, впрочем). Почему все диктаторы – неудавшиеся творцы, бездарные художники (Гитлер), писатели (Насер сочинил роман), поэты (Сталин, Мао). Первый из них – ангел, позавидовавший Богу.

Тут нужна еще одна модель – модель грехопадения, модель сужения интеллигентности. С тех пор как впервые зашаталась традиция и возникло независимое личностное мышление, по страницам истории идут два противоположных типа мыслящей личности. Один видит целое,

другой – только частности (группируя их в абстрактные классы). Один пытается осознать традицию («не нарушить, а исполнить»; нарушить букву, но спасти дух), другой отбрасывает ее. Один видит в каждом человеке то же, что он увидел в себе, и хочет изменить мир изнутри. Другой, чисто интеллектуальный, духовно мелкий, делит людей на умных (как он сам) и глупых, и хочет управлять глупыми (для их же блага), как упряжкой коней. Человек для него – все равно что кусок дерева в руках ремесленника, кусок, который можно как угодно обтесать. Второй тип впервые отчетливо показал себя в древнем Китае (Шан Ян, Хань Фэй), но в нем нет ничего специфически китайского. Можно обнаружить его в божественном Платоне, авторе «Пира»: он же, как известно, автор «Государства» – первой тоталитарной утопии Средиземноморья.

Личностное мышление интеллигента несет в себе одновременно возможность Христа и Антихриста. Победа интеллигенции над традицией – это возможность новой, более высокой степени свободы и нового, более страшного рабства. Интеллектуальная свобода – что-то вроде атомной энергии. Она может служить и добру и злу, может спасти мир и погубить его. Надо сознавать этот риск, на который идешь, отстаивая дело свободы. Надо понять, что свобода, не сопряженная с внутренним преображением, необходимо кончается шигалевщиной.

Таким образом, я рассчитываю на интеллигенцию вовсе не потому, что она хороша. Интеллигенция, как и все человечество, не избежала первородного греха; и умственное развитие само по себе только увеличивает способность к злу. Но только интеллигенция способна ориентироваться в нынешнем сложном обществе. Святая простота не разберется в обстановке и опять принесет «вязанку дров, как лепту, на костер» (Ф.Тютчев. «Гус на костре»). Мой избранный народ плох. Я это знаю. Но у меня, как у Иеговы, нет выбора: остальные еще хуже.

Остается подставить интеллигенции зеркало и показать ей, какая она есть. Духовная незащищенность, отказ от привычных ориентиров во времени и в вечности, опора только на самого себя, на свою собственную глубину – все это утомляет, становится невыносимым; от этого хочется бежать, как от чумы, от холеры, от сифилиса; вселиться в семипудовую купчиху и поверить во все, во что она верит. Добрая половина образованного общества готова ухватиться за что угодно. Лишь бы был твердый человек, твердый принцип, твердая традиция. Гомункулизм, сталинизм и прочее – все это частные случаи, отдельные нарывы, а болезнь крови – в неспособности обрести Царство Божие, которое внутри нас.

Человек, потерявший ориентацию в линиящем мире, только очень редко схватывается за то, что само по себе вечно. Чаще он привязывается к руководству людей, знающих тайну, к церкви или еще к какой-либо школе благоговения и ищет прикосновения к вечности в обточенных веками обрядах. Еще чаще привязываются к примитивам, не порвавшим еще с целостностью жизни, – к народам, племенам, животным.

Все это отчасти хорошо. Можно многому научиться у простых, не испорченных высшим образованием людей, у животных, у деревьев, у облаков. У моря – его широте. У деревьев – их осанке, их стремлению к свету. У птиц – их инстинктивной способности отвечать солнцу. У животных – безыскусности крика и движения. У архаических племен и народностей – вневеличной соборной мудрости...

Двигаясь по лестнице образованности, мы не только приобретаем (сложность, утонченность), но и теряем (простоту, цельность). Нельзя двигаться вперед непрерывно, потому что наше «вперед» условно, горизонтально, в нем нет верха, в нем забывается движение вверх – к абсолютной простоте. И если мы каждый день и ночь не возвращаемся к своему истоку, к абсолютно простому, если мы забываем о нем, то время от времени прогресс сменяется романтической реакцией и вкус к классически развитому, расчлененному сменяется вкусом к нерасчлененному, простому, примитивному. Это так же естественно, как движение маятника, и только М.А.Лифшиц способен объявить маятнику войну.

Но... тут есть некоторые «но». Страсть к примитивному имеет и свои патологические формы. Наиболее свободна от них любовь к природе, к животным. Друзья говорили мне, иногда в шутку, иногда всерьез, что собаки или кошки гораздо лучше людей. Но никто из знакомых мне кошатников или кошатниц не орал в марте, как кот, и никто из знакомых собачников не вырывал у соседней кость изо рта. Есть какой-то незримый порог, мешающий человеку встать на четвереньки. Как-то само собой получается, что у деревьев, у собак и кошек учатся тому, что обогащает нашу человечность, а не портит ее. Любовь к народу в этом смысле гораздо опаснее. Никакого порога, мешающего встать на четвереньки, здесь нет.

Тут опять-таки есть «но»: есть примитивизм, расширяющий сердце, и примитивизм, сужающий сердце (как, помнится, Гейне говорил о патриотизме французском и немецком). Вкус к примитивам неопасен, если вы любите всякие, а не только свои примитивы; тогда в самой своей любви к ним вы остаетесь на современном человеческом уровне, вы не проникаетесь чисто примитивной нелюбовью к чужим примитивным (и не примитивным) культурам. К сожалению, самая естественная из страстей – страсть к своему народу – легко становится злокачественной. К ней легко примешивается политический расчет, надежда опереться на толпу (которой вы льстите), чтобы кого-то вытеснить с теплого места. И тогда эта любовь к своему народу, к своей нации, к простым людям без всех этих интеллигентских штучек становится гнусностью.

Миф о народе был основательно разрушен в «Белой гвардии» М.Булгакова, в столкновении народа без интеллигенции с интеллигенцией без народа. В «Собачьем сердце», если перевести гротеск на язык социологии, вносится разъяснение: народ хорош, пока он неподвижен, не втянут в историю, остается патриархальным Шариком. Взбаламученный, взбунтовавшийся народ теряет свою душу, становится массой, глиной в руках бесов. «Не приведи Бог увидеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный» (А.Пушкин. «Капитанская дочка»).

И все же миф о народе пытаются возродить, вероятно, по той же причине, по которой югославские партизаны ободряли себя частушкой:

Не боимся ваших авионов:
Нас и русских двести миллионов!

Чувство единства с миллионами ободряет, как сто грамм перед атакой. Но что потом? Потом интеллигенты, облачившиеся в пролетариат, в народ и прочие сермяги, истребляли интеллигентность в себе и вокруг себя во имя своего фетиша...

Интеллигенция не может проходить мимо политических событий, затрагивающих ее нравственное чувство. Но всякое политическое выступление есть политика. Как бы ни был этически окрашен первый политический шаг (демонстрация, протест), политика имеет свою логику (так же как наука, искусство, воспитание детей и т.п.; каждое требует человека целиком). Погрузившись в политику с головой, интеллигенция неизбежно приходит к отказу от того, что ее толкнуло в политику, – к утрате сознания, что есть ценности более высокие, чем любая политическая победа или поражение. Особенно опасно положение интеллигенции в стране, где ее и близко не подпускают к власти. В нормальных для развитых стран условиях ученый, писатель, режиссер просто не хочет стать министром, ему больше нравится его собственная работа. А запретный плод сладок. Пытаясь схватить его, часть интеллигенции совершает внутреннее грехопадение, превращается в политическую контрэлиту. Этот процесс довольно хорошо прослеживается в истории России, и нет никаких гарантий, что он не повторится.

Первый шаг к метаморфозе радикальной интеллигенции – возникновение типа героя, слегка охмелевшего от собственной смелости и в иные минуты чувствующего себя (хотя еще не сознающего) по ту сторону обывательского добра и зла. Постепенно борцы с деспотизмом

присваивают себе права деспотов и начинают обращаться с обывателями примерно так же самодержавно, как сатрапы. Разумеется, обыватель этого вполне заслуживает. Его трусость, его раболепие воспитывают деспотов. Но герои не замечают, что структура общества, таким образом, увековечивает себя: само отрицание старого становится его повторением.

Что менялось? Знаки и возглавья?

Тот же ураган на всех путях:

В комиссарах дух самодержавья,

Взрывы революции в царях...

М.Волошин. «Северовосток»

В странах Африки эта кинолента крутится с повышенной скоростью. В 18 лет Нума Помпилий – студент с головой, полной освободительных идей; в 20 – министр, в 22 – ставит в своем дворце золотую ванну, в 24 – тирана свергают. В такой легкости есть свое преимущество: меньше трупов. В России или Китае драма разыгрывается всерьез. Из одних расстрелянных можно было бы составить несколько новых африканских государств – членов ООН...

Как бы ни угнетали интеллигенцию, как бы ее ни распинали, основное ядро ее, по-моему, не должно стремиться к власти. Идеальным политическим представительством этого ядра была бы ассоциация, обладающая прессой, но принципиально не участвующая в работе власти, по крайней мере исполнительная. Политическая форма существования, максимум влияния интеллигенции могут быть достигнуты не захватом власти и даже не борьбой за власть, а диалогом с властью, диалогом, в котором интеллигенция может формулировать и высказывать принципы, определяющие деятельность власти, и время от времени оказывать ограниченную поддержку тому или иному деятелю (группе деятелей) лучше других. Царство духа и царство кесаря должны перекликаться, но не соединяться под одной короной.

Мне кажется, для этого идеального и труднодостижимого состояния нужны какие-то совершенно новые характеры. Сейчас много говорят о сат્યાграхе, но ведь сат્યાграха – это не просто ненасильственное движение, не просто отвергающее борьбу за власть. Главное – это движение, постоянно создающее необходимость нравственной самопроверки. Движение, участники которого не считают себя героями и скромно сознают свою неподготовленность к свободе, изо дня в день готовят себя к ней. Ибо свобода – это не просто отсутствие оков. Это – искушение, ответственность. С непривычки это гораздо более опасное состояние, чем рабство.

Лет за пятнадцать до моего рождения О.Сергий Булгаков писал о том, что нам нужны подвижники, а не герои. Но идея подвижничества, накладываясь на православную традицию смирения перед кесарем, становилась бесплодной. Она не создавала никакой альтернативы геройству на гражданском поприще. Она сплеталась с полемическим отрицанием всех традиций интеллигенции и полемическим национализмом (в противоположность марксистскому космополитизму и без понимания того, что русский национализм неизбежно примет агрессивный, погромный характер). Впоследствии Бердяев все это понял и попытался исправить, но слишком поздно, в эмиграции.

Так или иначе, призыв Булгакова не был услышан. Геройство по-прежнему влекло к себе мальчиков и девочек. Шеренга за шеренгой вступали в историю и за ними вслед выстраивались пирамиды черепов.

Потом мы устали, выдохлись, снова (как во времена Н.Г.Чернышевского) превратились в общество «бородатых баб» – и вот я снова думаю о том же.

За 70 лет мы кое-чему научились. Люди, преодолевшие трусость, больше не верят в спасительную силу террора. Они стали сторонниками ненасилия. Но психологически они еще очень близки к героям, которых идеологически отвергли: к людям 20-х годов и еще более ранним. Дух вольности у нас еще совсем по-декабристски смешивается с духом удалой пирушки.

Как-то не пришло в голову, что надо не только других учить (мужеству), но и самих себя (прочим добродетелям: трезвости, целомудрию, нежеланию славы и т.п.), что надо начать со своего собственного преображения, что невозможно служить нравственному росту общества и росту пьянства в одно и то же время. Особенно виновата в этом публика. Она просто не дает героям задуматься. Для обитательниц гарема любой мужчина, сохранивший признаки мужественности, становится объектом культа. И так, рядом с руинами старого культа героев, закладывается фундамент нового.

В терминах древней индийской философии, члениющей структуру бытия (пракрити) на три нити (гуны), наша страна находится в состоянии тамас (тяжесть, тупость, инертность). Поэтому ближайшая более высокая гуна, раджас (страстность, динамизм), потрясает воображение – до того, что даже вопрос не ставится: с чем смешан этот раджас? С саттвой (легкостью, просветленностью, духовностью)? Или ярость, в которой слишком много тупого (тамас), в конечном счете ведет нас назад, в то самое болото, из которого она вырвалась? Когда современный поэт не имеет желчи, когда саттвы слишком много, его находят пресным...

Я думаю, что сатьяграха – это постоянная проверка движения (раджас), с чем оно смешано и не накапливается ли в нем слишком много винного перегара (русский вариант тамаса). Вплоть до остановок движения – как это делал Ганди, – если накипи становится слишком много.

Надо иногда останавливаться, чтобы углубиться. И в общественном движении, и во всяком другом. Только углубившись, человек может найти силы, чтобы пересилить внешнее давление. Это углубление сейчас нужно каждому – и герою, и среднему интеллигенту. В конце концов решает он, маленький человек. Решает изменение общего нравственного уровня. На первое время хотя бы в одном, интеллигентном слое. Пусть будет побольше простых порядочных людей. Которые не огорчаются, если их не посадили (об этом писал еще С.Булгаков), и делают все хорошее, что можно среднему человеку, приобретая средние неприятности и не приобретая никакой славы.

Если бы мы могли просто уйти на священный холм, как плебеи Древнего Рима! Если бы у нас хватило характера отдать все свои лавровые венки, все степени и звания и быть самими собой. Не предавать, не подвывать и не гордиться этим. Это ведь совсем нетрудно и, в сущности, не опасно. Надо только предпочесть чистую совесть чистому подъезду и приготовиться обходиться честным куском хлеба без икры.

К сожалению, рядовой современный интеллигент ниже этого. И пока все так, бессмысленно ждать лучшего будущего. Ниоткуда со стороны оно не придет.

Мы слишком много строили и, как строители Вавилонской башни, перестали понимать друг друга. Мы сплошь и рядом не понимаем даже себя, не можем решить, к какому «мы» себя отнести, к какой вере, к какой идее, к какой нации.

Вавилон – не просто большой город. Это город, где смешивались языки, где исчезают народы, исчезают всячески – и как примитивы, и как нации, и как верования отцов. Мы живем в век вселенской диаспоры. Правда, в этот же век еврейская диаспора восстановила свое ядро, опрокинув несколько теорий, по которым так не должно было быть. Но в результате диаспора не исчезла. Еврейская нация просто сравнялась с другими нациями диаспоры: армянской, ливанской, татарской, ирландской... Диаспора давно перестала быть чисто еврейской, исключительной чертой, она стала чертой всеобщей. В наш век чуть ли не каждая нация пустила облачко рассеяния. Есть диаспора китайская – в Юго-Восточной Азии; диаспора индийская – в Азии и Африке; даже дагомейская – в Западной Африке; и уже были дагомейские погромы. Давно пора создать новый термин – «антидиаспоризм». Психология китайского погрома в

Индонезии, индийского в ЮАР и т.д. мало чем отличается от психологии кишиневского погрома. Замкнутые, слабо диаспоризированные крестьянские народы могут сочувственно относиться друг к другу, но народы закоренелой диаспоры они считают особыми, плохими народами, в целом плохими, хотя возможны отдельные исключения. (Братские чувства «замкнутого» человека к другим народам всегда несколько напоминают ответ армянского радио о пролетарском интернационализме: «Это когда русские и евреи, армяне и татары вместе идут бить грузин». Грузинское радио соответственно меняет порядок имен.)

Как и все предрассудки, этот предрассудок имеет под собой известные основания. Нации старой, закоренелой диаспоры меньше тяготеют к золотой середине, чем крестьянские нации, – разброс добра и зла в них шире. Надо самому быть широким, как Марина Цветаева, чтобы вместить это:

...Вы кровью заплатили нам! Герои!
Предатели! Пророки! Торгаши!

Человек диаспоры либо изворачивается, как угорь, чтобы захватить чужое пространство, либо живет одним духом. Первых, естественно, больше, чем вторых. Иваны Денисовичи добросовестно ошибаются, принимая распространенное зло за норму, а добро – как отклонение от нормы. Так же думает Русанов; и как частное лицо, и как заведующий отделом кадров. Здесь он вполне искренен и вполне народен... Только интеллигенция, за некоторыми исключениями (из которых самое талантливое – Достоевский), нашла мужество идти против народа вместе с Мариной Цветаевой и Н.Бердяевым («Христианство и антисемитизм») или с Н.Бухариным. При всем несходстве этих трех лиц они были интеллигентами, т.е. в каком-то смысле сами принадлежали к диаспоре, не испытывали к ней отвращения.

Диаспора – очень широкое явление. Есть диаспора политическая (испанская, польская, русская), диаспора туристическая (влечение к чужому, дальнему) и особая интеллигентская, духовная диаспора. Духовно все современные интеллигенты принадлежат диаспоре. Все, открытыми глазами читающие английские книги, смотрящие японские фильмы. В старину, по Кормчей книге, за это полагалось проклятие.

Мы живем не в одном, а сразу в нескольких духовных мирах. Мы всюду не совсем чужие. Мы всюду не совсем свои. В нашем сознании европейская, суфийская, индийская, китайская мудрость лезут друг на друга, как торосы в Арктике. И один призыв к вере, к традиции, к народу анафематствует другой. Народы не знают дороги из этого хаоса. Они и в старину не знали дороги – их выводили пророки. Откуда же взяться пророкам сейчас?

Идеал интеллигентности – это просветленное сомнение, это равновесие духовного богатства и духовной нищеты. (Первое без второго – книжник и фарисей, по-новому: интеллектуал, сноб; второе без первого – юридивый...) Интеллигентность – это развитие, процесс. Место интеллигенции всегда на полдороге. Если сознания этого нет, если есть закрытость, замкнутость на какой-то идее, догме, традиции, интеллигентность начинает исчезать, выветриваться. Интеллигенция как особый слой (в котором собственно интеллигентно маленькое ядро) образуется именно в обществе, утратившем народные ценности: в России – после Петра, в странах Азии и Африки – на наших глазах.

Вися в воздухе, часть интеллигенции ищет опоры в каких-то символах народности (романтики, славянофилы, негритюд). Но что стоит за этими словами после сталинской коллективизации, оставившей от народа только рожки да ножки? Что можно поставить за этими символами в Америке?

Есть счастливые исключения среди малых стран. Там процесс урбанизации шел иначе. Там сохранялась сплоченность, связывающая вместе все уровни образованности. Там нация бывает единым организмом; там интеллигенты больше просвещали массы, чем возбуждали в них воинственность. Там символы национального единства не так легко становятся символом травли других, послабее. Там все иначе. Там, как в Праге в 1968 году, народ (people) – реальность, и

иногда весь народ действует как один человек против всемогущих тоталитарных машин.

К сожалению, в большинстве случаев народничество подыгрывает агрессивному национализму. Пример Германии достаточно свеж. Пример арабов перед глазами. Нужно ли нам дать человечеству еще один? В этой обстановке симптоматичен, как сыпь, рост группки, образовавшейся вокруг Общества по охране памятников старины. «Нашим» охранники говорят, что народ можно разбудить только призывом бить евреев – и в конце концов стоит пожертвовать двумя миллионами для счастья 200. «Не нашим» толкуется, по-видимому, что-то другое. Во всяком случае, недреманное око, хорошо зная, что о нем говорят, только жмурится на глазуновцев и жалуется им с барского плеча журнал «Наш современник» (редактор т. Чалмаев). Око догадывается, что шум про святую Русь не повредит, скорее даже сгодится: покамест как брусничное варенье к военно-патриотическому цыпленку, а со временем, может быть, и еще для чего-нибудь: как неофициальная разведка очередного официального погрома (в духе Мочара и Гомулки), а там, глядишь, и для более серьезного идеологического поворота. Не век ведь Руси жить мелкими заплатками на мундире, сшитом не по русскому плечу. Казалось бы, все это мерзость. Однако за короткое время к Глазунову примкнуло несколько не лишенных таланта людей: Солоухин, Кожин, Палиевский, Чалмаев. Люди вовсе бездарные к нему не тянутся: для них всякий поворот труден. Им лучше кочетовский «Октябрь».

Тайна псевдопочвеннической души, может быть, разрешится, если вдуматься в ситуацию современного талантливого человека. Он талантлив, но не настолько, чтобы отдаться своему дару целиком, по-солженицынски, до полной гибели всерьез, и забыть о всяких расчетах. У него нет никаких святынь, никаких табу. Он хочет успеха. Чтобы добиться успеха, надо лизать анус, но человек со вкусом, с развитием не может просто, без претензий заниматься анализом (лизанием упомянутого предмета). Ему нужно и в подлости сохранить оттенок благородства, независимости, известную свободу выбора, известную личность и экзистенциальность. Не способен человек 60-х годов «каплей литься с массами...» И здесь платформа, занятая Глазуновым, представляет собой драгоценную находку. Она позволяет и личность соблюсти, и выгоду слизнуть. Потому что оппозиция глазуновского типа – единственная, которая не обещает никаких серьезных неприятностей.

Стоит заметить, что некоторые новоявленные русские почвенники были выращены знаменитым провокатором Эльсбергом. Когда его после XXII съезда пытались исключить из Союза писателей и выгнать из ИМЛИ, будущие ревнители православия и народности ходили по Институту мировой литературы собирать подписи в защиту учителя. Можно ли хоть на минуту представить себе Хомякова или Киреевского учениками Булгарина, более того – собирающими подписи под адресом в честь разоблаченного агента?

Новое пряничное славянофильство насквозь мещанское, спекулянтское, рыночное. Моральные сомнения его не отягощают. Трагическое чувство России ему недоступно. Попытки имитировать его у В.Солоухина сразу сбиваются на риторику. Судьба России слышна скорее в желчных песнях Галича, в его Марии, бредущей по суглинку вселенской Иудеи (вступая в невольную переключку с тютчевским «удрученным ношей крестной» Христом...).

Можно заметить, что для политических спекуляций подлинности и не требуется. И в какой-то мере это верно. Для того чтобы ускользнуть от нравственного выбора, привлечь публику и угодить начальству, чем меньше подлинности, тем лучше. Однако то, что очень удобно для Глазунова, Солоухина и пр., вряд ли удобно для России. Нация, стоящая в центре большой системы, не может удерживать этого места с помощью кокошников и сарафанов, напаянных на ракеты. Тут нужна идея, способная вызвать отклик и в нерусском сердце, – ну хоть идея «гуманного социализма», например. Напротив, забота о кокошниках и сарафанах в центре вызывает аналогичные заботы на местах, и центробежные силы могут оказаться побольше центростремительных. Избрав удел духовной провинции, Россия становится на путь, ведущий и к политическому захолустью. Это тот путь, который проделала Испания в XVII-XVIII вв., и он широко открыт перед нами.

Интеллигенция сверхдержавы не может жить утробным патриотизмом. Она не может спокойно жить в стране, которую ненавидят целые континенты, и не может не понимать, что такое положение попросту опасно. Она ищет вселенской идеи, способной оправдать сверхнациональную систему, или становится на сторону малых народов, борющихся против подавления своей индивидуальности. Она приходит к мысли, что рост могущества нации сверх необходимой меры становится врагом национальной жизни... Всего этого мещанин решительно не может понять. Никакой вины на себе он не чувствует. И если «они» «нас» не любят, то, значит, они сволочи и надо их давить. Взаимное понимание интеллигента и мещанина в условиях сверхдержавы вряд ли мыслимо. Возможна только международная солидарность интеллигентских меньшинств через головы националистического мещанства.

Наше время часть евреев превратило в людей, как все, со своими почтовыми марками. Но зато миллионы интеллигентов стали чем-то вроде неизраильских евреев, «людьми воздуха», потерявшими все корни в обыденном бытии. Запутанность, заброшенность, тревога, страх, забота – весь этот быт человека гетто стал называться экзистенциализмом и переведен на все языки вместе с Францем Кафкой (Макс Брод считал его писателем специфически еврейским, но никто с ним не согласен). Теперь мы все равны в праве на страх, теперь каждый мыслящий человек сознает возможность термоядерного погрома, и остается только всем вместе выпутаться из этой общей для всех погромной ситуации.

К несчастью, в сверхдержавках, которым Бог дал силу вязать и решать, интеллигенция бессильна (или по крайней мере очень слаба). Политика здесь в плену у машины всемирного господства, у идеи престижа. Единственная заслуга сверхдержав – то, что они уравнивают друг друга. Самое лучшее, что Россия и Америка могут сделать, – это сдерживать Китай. А малые страны пусть идут своим путем. Некоторые из них сохранили возможность коллективной доброй воли, сдвига к чему-то лучшему, к выходу из всемирно-исторического тупика, в который мы зашли. Надо по крайней мере не мешать им.

В этих условиях судьба интеллигентских меньшинств становится глубоко сходной с судьбой национальных меньшинств.

В сем христианнейшем из миров
Поэты – жида!

М.Цветаева

Интеллигент может пытаться ассимилироваться в массе, но масса великодержавных мещан никогда не признает его за своего и при первой возможности вытолкнет – так, как были вытолкнуты из РСДРП ее основатели. Только сплотившись в своем одиночестве, интеллигенция может чего-то добиться и для себя самой, и для всех. В конечном счете, интеллигенция должна выйти за свои рамки, захватить, просветить массы. Но прежде чем посолить, надо стать солью; прежде чем просвещать, надо стать светом, перестать быть человеком массы, перестать быть частицей тьмы.

Может ли меньшинство чего-то добиться? Не есть ли тактика заведомого меньшинства – тактика отчаяния? Не есть ли это крик одиночки, бессильного что-либо изменить?

...Отказываюсь жить
В бедламе нелюдей.
Отказываюсь быть
С волками площадей.

М.Цветаева

Я думаю, что все великое начиналось с меньшинства, даже больше того – с одиночки, отказавшегося выть. На этого одиночку я и рассчитываю.

Я нахожу какие-то огоньки надежды то там, то сям. Мне кажется, что путешествие всемирной литературы на край ночи подходит к концу. На запретной полосе, перепаханной модерном, поднялось и несколько ростков жизни: «Маленький принц» Сент-Экзюпери, некоторые герои Сэлинджера. Принц попробовал жить на старой земле и не сумел. Но через несколько лет появились братья и сестры Гласе. Первый, Сеймур, не выдержал, а остальные живут. Живут без всяких народных корней. Даже без надежды схватиться за народ как источник мудрости. Если они чувствуют потребность в примере, то прямо обращаются к Христу. И если Сэлинджер думает о своем читателе, то вместо туманного обращения к народу просто говорит: надо писать так, чтобы тебя прочитало как можно больше старых библиотекарей.

И рядом с новыми, замодернистскими сэлинджеровскими мальчиками действительно оказываются лучшие старые люди, домодернистские, простые люди, те, которые не приняли причастия буйвола, остались верными агнцу. Сэлинджер и Бёлль стоят в сегодняшнем мире где-то рядом.

Вторая новая черта – чувство открытости, прозрачности к другим культурам. Это опять-таки очень бросается в глаза у Сэлинджера. Для его героев Индия и Китай – такие же близкие родственники, как для русского – Украина. Христианство Сэлинджера действительно католическое, вселенское. Оно немыслимо без прозрачности для всех других вселенских религий, выросших на другой почве. Оно отыскивает себя заново в Упанишадах, дзэнских парадоксах, отталкивается от них и возвращается к себе так же, как Мандельштам (и без того человек двойной национальности) тянется еще к немецкой и итальянской речи и находит в них новое богатство своей родной; как Рильке в конце своей жизни вдруг почувствовал исчерпанность немецкой речи, перешел на французский язык и наполовину по-русски написал свою предсмертную записку.

Мне чудится в этих попытках что-то пророческое. Это, может быть, первые люди новых, проникающих друг в друга, незамкнутых общностей, общностей из башни Майтрейи (в которой каждая душа отражалась во всех других, и невозможно было непонимание).

Христос проповедовал рыбакам и блудницам. Но он никогда не проповедовал массам. Массы тогда, как и сейчас, предпочитали Варраву.

Он проповедовал людям, когда они не были массой, а от массы бежал «страха ради иудейска». Проповедовал небольшим группам избранного народа, чтобы они стали ядром нового Адама и потом когда-нибудь это ядро обросло плотью не в массовом, а в интимном общении. (Ни одна великая идея не побеждала в период жизни одного поколения... Политические идеи действуют как валидол. Они снимают спазмы, но не могут вылечить порока сердца. Глубочайшие пороки требуют особых, медленно действующих лекарств; терапии Христа, а не Гракхов).

Потом, когда новый культ, выросший из проповеди апостолов, покорил заброшенных римских горожан, когда Константин и Феодосии навязали новую веру поганым («деревенщине»), народы не в силах были вместить ее и перекроили на свой лад, даже не ветхозаветный, а дозаветный лад. Народ никогда не был новозаветным. Когда явится новозаветный народ, наступит тысячелетнее царство праведных. Пока это немыслимо. Народы не в силах вместить ни космополитизма Нового Завета, ни его духовной глубины.

Не поняв Царствия Божия, которое внутри нас, и перестав верить в Царствие Божие на небе, народы развитых стран за последние века если и верили во что-то, то разве только в лучшее будущее. Но в наш век и эта вера заколебалась. Сама идея лучшего будущего, помимо

вероятности ее осуществления, встретила возражения и нападки. Будущее будет, нет ли, говорят современные Иваны Карамазовы, а настоящее слишком часто приносилось ему в жертву. И стоит ли эта гармония сегодняшних, настоящих слез?

Падая с неба или с сияющих вершин, люди схватились за народность – и попали в плен к ней. Будет ли, нет ли Царствие Небесное или светлое будущее, но мысль о нем давала точку, с которой можно было взглянуть на свой народ, как с горы, и сказать: есть две нации в каждой нации. Есть Герцен, и есть Пуришкевич... А с позиции народности все кошки серы. У старых славянофилов была мерка, которой можно было мерить Россию, – был Бог. У новых почвенников ничего нет, кроме любви к своим собственным детям больше, чем к чужим. Что же делать, если свое скверное?

Бороться с отечественными пороками, стоя целиком на отечественной почве, так же просто, как вытащить себя за волосы из болота. Это задача для барона Мюнхгаузена и В.Солоухина. Или самоутешение для мещанина, который, в сущности, своими пороками совершенно доволен и никуда из своей миргородской лужи не хочет.

Миф о подлинном национальном характере, который надо только освободить от наносных черт, очень удобен для рассуждений, но при ближайшем подходе к предмету рассыпается. То, что наносилось семьсот лет, давно стало своим. Освобождаться надо от своей собственной, а не от чужой мерзости. Второе вообще слишком легкое дело. То, что называют национальным характером, – сложная структура, которую можно членить на несколько пар типов, черт. Есть русские черты, идущие от богатырских эпох или сторон русской истории – широта, удаль, беззаботность (я включаю сюда и беззаботность, хотя от нее было и будет много несчастий: в ней есть что-то для меня глубоко привлекательное). И есть русское холуйство, русское хамство. Есть черты, складывающиеся в церкви (женская кротость и всепрощение), и черты, складывающиеся на конюшне. Как все это соберется вместе? На войне, когда начальство разрешает быть храбрым, русский мужик расправляется и становится человеком. В мирное время, когда начальство ему этого не позволяет, он теряет уважение к себе, подлеет, пьет, спьяну куражится...

У Достоевского в «Дневнике писателя» пересказывается газетная заметка о мужике, привыкшем засовывать голову своей безответной жены под половицу и сечь ее вожжами. Ни за что, так просто, чтобы себя показать, чтобы доказать, что он – власть (со смутным сознанием, что без власти он – ничто). Пока она не повесилась. С одной стороны – мужик Марей, с другой – мужик-палач, мужик-погромщик. «Широк, слишком широк человек. Я бы сузил» (Достоевский).

Один из лидеров сионизма, Жаботинский, в начале XX века произнес знаменитые слова: «Каждый народ вправе иметь своих мерзавцев». Как будто бы так оно и есть. Как будто бы верно: ни один народ от этого права никогда не отказывался. Но в старину пользовались своим правом как-то втихую, не провозглашая его как девиз, как принцип. Только потеряв веру в Бога и в прогресс, можно было дойти до идеи права на мерзость. Это и есть специфическая «позитивная» идея национализма XX века. То, что его отличает от национализма романтиков.

Меня охватывает недоумение: а есть ли оно, это право? Может быть, это только привычка и пора ее несколько поурезать? Особенно в наш атомный век, при чрезвычайном росте средств делать всенародные, всемирные мерзости? И если народ без права на своих мерзавцев невозможно представить, то тогда – тем хуже для народов? И народ, обладающий атомной бомбой – это немислимое сочетание терминов? И если нельзя отказаться от открытий, сделанных физикой XX века, то надо вылезать из старой народной шкуры?

И еще некоторые особые, местные вопросы приходят мне на ум. Англичане пишут курсивом слово интеллигенция. Оно пришло для них из России, из русской культуры. И каждый раз, когда я встречаю эту *intelligentsia*, я испытываю какое-то чувство наивной радости. Но есть еще одно литературное заимствование, тоже не очень давнее: «погром». Последнее время оно довольно

часто мелькает: «погром ибо в Нигерии», «дагомейский погром в Конго»... И каждый раз меня охватывает дрожь стыда. А вам не стыдно, судари и сударыни? Вы думаете, что Россия может «взлететь белой лебедью», не возненавидев собственной скверны? Невольно вспоминаю славянофила Хомякова:

В судах полна неправды черной,
И игом рабства клеймлена,
Постыдной лести, лжи тлетворной,
И лени мертвой и позорной,
И всякой мерзости полна...

Это старые стихи. И вы можете забыть их. Без них лучше спится. Только до тех пор, пока вы так думаете, пока вам снится, что вы летите, помахивая белыми крылами, Россия по-прежнему будет ворочаться в канаве. Чтобы в самом деле подняться, надо возненавидеть собственную скверну. И полюбить что-то получше: Бога, идею... Тогда народ действительно взлетает, и следами его остаются такие слова, как «осанна», «аминь», «София», – или, в атеистические времена: «интеллигенция», «прогресс», – а не «погром» и «..твою мать».

Из двух великих народов древности, заложивших основы нашей культуры, один осудил Сократа (за безнравственность), другой распял Христа... Как это получилось? Может быть, потому, что обратная сторона народа – масса? И глас народа – глас Божий, глас массы – голос осла?.. Может быть, весь смысл народа в том, чтобы сопротивляться крупным переменам? Сопротивляясь Шан Яну, он прав. Сопротивляясь Христу, он грешен. Но сам по себе он никого не рождает. Он только хранит, и то не очень хорошо.

Какой пророк был доволен своим народом? Какой пророк не бичевал его? Не говорит ли довольство своим народом о глубоком духовном упадке, об утрате самого томления по духовной глубине? То, что у нас обычно называют народом, совсем не народ, а мещанство. Это мещанство хочет называть себя народом, подчинить себе интеллигенцию, заставить ее относиться к себе как к норме или образцу. Действительные поиски народности (африканской, океанической, примитивной) это мещанство не понимает и гонит. Действительную духовную традицию народов, в лучших ее порывах, это мещанство не понимает, не знает. Наследники этой традиции – мы, мы сами, и нам самим надо искать дорогу, не оглядываясь на большинство. Когда Орфей оглянулся, он второй раз потерял Эвридику... Потому даже с величайшей, глубочайшей точки зрения, на которую иногда становятся народники, нельзя проклинать бич Божий, истребляющий народы. Народы должны преобразиться, ветхий Адам должен умереть, чтобы родился новый.

Пицунда, сентябрь 1967, Москва, март 1969

Послесловие

Осенью 1967 года я написал первую редакцию своего эссе «Человек воздуха».

Почти год я выслушивал возражения друзей, вычеркивал, вписывал, исправлял. Происходили события – и входили в построенную модель вставными эпизодами. Но вдруг случилось нечто, не влезавшее в текст. Не договорив монолога, Гамлет упал в оркестр. Эссе, которое никак не удавалось окончить, оказалось написанным в прошлую эпоху, а мы – в новой.

В том, что у меня написалось, есть одна условность: все строится по оси спора с почвенниками. Запах кваса и погрома заставил меня определить себя как человека диаспоры. Я встал на точку зрения диаспоры и развил ее насколько мог. Я встал на точку зрения «вонючего интеллигентского гуманизма», от которого бегут поклонники Розанова, и постарался показать, чем может и должна стать интеллигенция. Но диаспора и даже интеллигенция – это не клетки, в которые я посадил себя на всю жизнь. В самом глубоком слое я чувствую себя человеком без всяких прилагательных: определить и ограничить себя я согласен только по отношению к тому,

что находится над всеми частными решениями. Можете назвать это Богом, Абсолютом, Пустотой, Единым, Ничто: я не привязан ни к одному из этих слов больше, чем к другим. Но этому что-то, насколько я его понимаю и угадываю, я служу. А все то, что можно высказать, сформулировать, не связывает меня безусловно, и я всегда готов сказать вместе с Достоевским: «Если бы как-нибудь оказалось (предполагая невозможное возможным), что Христос вне истины и истина вне Христа, то я предпочел бы остаться с Христом вне истины, чем с истиной вне Христа». Иначе говоря: с тем, что я люблю, а не с отвлеченным принципом. Принципы для меня все условны, в том числе принцип диаспоры (а не земли), интеллигенции (а не простецов) и пр. Иногда я буду с простецами против снобов, с народами и племенами – против космополитов и т.п.

Мой спор с внутренне честными почвенниками только об одном: где искать нравственную опору. Я утверждаю, что почва сползает и корни, пущенные в нее, легко могут оказаться в пустоте.

Я утверждаю, что надо искать опору в первичных впечатлениях бытия, т.е. в тех слоях подсознания, которые воспринимают какую-то подсказку, какие-то сигналы от бытия как целого, неразложимого на атомарные факты и потому таинственного, непостижимого. Если какой народ эту способность сохранил, то разве только бушменский; этой способности нельзя научиться у нынешних масс.

Один из моих собеседников заметил, что подлинная почва – это религиозная традиция, что народ еврейский сохранился, потому что почвой его была вера, и такой же почвой для современной Европы, вставшей в духовное рассеяние, может стать христианство. Я согласен с этим, если подчеркивать в христианстве некий дух (который есть и в других вероисповеданиях). Я не согласен с этим, если подчеркивать исключительность христианства и противопоставлять его всем духовным традициям мира, в том числе самым высоким. В таком обособлении я вижу попытку спрятать голову в песок, уйти от трудного вопроса о едином языке и едином образе духа для всех континентов и даже во многих случаях попытку поставить китайцев, например, вне круговой поруки добра. Впрочем, какой-то первой точкой опоры, каким-то бревном в водовороте может быть и самая исключительная христианская вера. «Человек ниоткуда» был попыткой поднять против прянично-погромного почвенничества чистое, не захваченное сейчас никакими подонками знамя космополитизма. Но я вовсе не говорю, что космополитизм (интернационализм) всегда благо, а почвенничество – всегда зло. Смотря какое почвенничество, смотря как оно повернуто, смотря в чем искать «почву». В почвенничестве мелькают несколько идей, с которыми я совершенно согласен. Я вполне понимаю Лену Огородникову, сказавшую, что Колыма ее тревожит гораздо больше Освенцима, и не отказываюсь от своей доли стыда, от своей доли национального позора. Я вполне понимаю и принимаю боль за свои национальные язвы, повышенное чувство ответственности за родные грехи. То, что я отвергаю, – это только поиски вредителя в другом, в инородческом и иноверческом микробе. Я убежден, что с этого начинаются авторитарное мышление, черная сотня, фашизм.

Мы расходимся с внутренне честными почвенниками в понимании многих вещей, но мы сходимся в неприятии морали, которую массы спокойно приняли: закон – тайга, мишка – прокурор. До каких-то пор я готов идти вместе с Леной Огородниковой и всей неглазуновской частью почвеннической интеллигенции, потому что все мы не можем дышать в присутствии дьявола, а это сейчас главное.

Потому что то, что произошло, трудно описать иначе: мы внезапно ощутили живое присутствие дьявола. Темные слои подсознания, которые казались дремлющими, внезапно оживились и стали подсказывать ходы игрокам в крупной международной игре. Мир покачнулся – и сделал еще один шаг к концу. Потом остановился, как Пизанская башня, наклонившись над бездной. И мы вернулись пить свой кофе и размышлять над положением пучков в многомерном пространстве.

Политика и мораль разные вещи. Это, может быть, верно сегодня, завтра, послезавтра, и вдруг целая цивилизация, подорванная упадком нравов, идет под откос. Где-то есть предел, а за ним пропасть, в которую обрушивались древние царства. Его нельзя переходить. Но сейчас все человечество подошло к этой грани, и все мы рухнем, как обры, о которых писал летописец: «Были телом велики и духом горды, и погубил их Бог, и осталась поговорка на Руси: погибоша аки обре, их же нет ни племени, ни наследка».

Есть предел политической безнравственности, оправданной государственными соображениями, за которыми гибнут Гоморра и Содом, гибнет царство Ассурбанипала, Цинь Ши-хуанди, Гитлера, Муссолини. Потому что человеческое общество не может существовать без какого-то минимума солидарности – естественной, не предписанной законом.

Мне возражали, что фашистские государства вовсе не были безнравственными. Что нравственность как система общественных норм была там строже, чем в государствах демократических. Да, но нравственность лишь попутно работает как система общественных норм. В своей основе нравственность – это заповеди, необходимые лишь для того, чтобы человек в своем поведении не затапывал те слои подсознания, которые способны работать как приемник и улавливать то, что Моисей назвал голосом Яхве, Будда – дхармой, а Лаоцзы – Дао. Назовите это как хотите. Но никакой другой, лучшей нравственности рационализм не смог придумать. Когда прекращается шепот неба, начинает вдохновлять бес, и дьявольщина разрастается в обществе, пока не пожрет его. Это объективный исторический закон, который впервые сформулировал Сыма Цянь (если Н.И.Конрад правильно интерпретировал соответствующий иероглиф), и никакие нормы, установленные государствами и диктаторами, не помогли против этой болезни. Все они держатся на инерции религиозной нормы и падают вместе с ней.

Существует объективный минимум солидарности, без которой общество разваливается, и от эпохи к эпохе этот минимум не падает, а растет. Бушмену достаточно любить 40-50 людей, с которыми он вместе кочует по пустыне. Это ему легко удастся, и средний бушмен – хороший бушмен. В большом племени, при тесных связях маленьких родовых групп, поселений, деревень труднее быть хорошим. Поэтому увеличивается роль внешней регуляции, всяких норм, законов, правил. Не надо думать, что законничество было только у древних евреев. Племя гого в Танзании регулирует такие вещи, которые ни Моисею, ни даже Эзре не пришло бы в голову узаконить: например, муж непременно должен укладываться на правый бок и ласкать жену левой рукой, хозяйки выливают помой непременно на запад (как и наши журналы) и т.д.

В ранних империях, смешавших и рассыпавших племена, племенные законы также рассыпались. Римские императоры попытались выйти из нравственного хаоса, дав народам себя как бога, а свои эдикты – как заповеди. Но императоры (даже очень хорошие, как Марк Аврелий) были слишком заняты государственными делами. Они едва успевали войти в роль нравственного образца, как опять надо было кого-то распинать, пытаться, раскрывать заговор. А эдикты, составленные на бивуаке, слишком отдавали государственной необходимостью и совсем мало – человеческим сердцем.

Тогда пришел Иисус, сын плотника из Назарета, и сделал то, чего не сумел цезарь. Он вернулся к нравственной интуиции, оставленной законниками, и прислушался к ней до того, что стал «одно с Отцом» – и в этой форме, подсказанной традицией, понял, что чувствует любовь к каждому человеку, каждому созданию на земле как к своему ребенку. Нового закона еще не было, но Иисус сам стал законом («написанным в сердце»); он знал, когда выполнять старые законы, а когда не нужно. Ему подсказывала та же нравственная интуиция, которая помогает бушменам жить на стоянке без ссор, только интуиция более развитая, способная обнять всю землю.

Так была решена задача времени. Так родился «Сын Божий», гений человечности, способный любить все 10, или 20, или 30 миллионов подданных Римской империи, и варваров, угрожавших ее границам, и друзей, и врагов, как самого себя. И был найден ключ к превращению массы, покорившейся римскому закону, в народ, связанный не только общим страхом, но и любовью. То

есть к солидарности без кровной мести между родами, без племенной вражды. Ключ этот был найден в человеке, ставшем совершенным, «как совершенен Отец наш Небесный», то есть открывшем в себе все те качества, которые пророки увидели на небесах.

Иисус нес себя миру, но для мира это было слишком просто: обновиться, преобразиться полностью он не мог. Миру нужен был компромисс Ветхого и Нового Адама – и он получил этот компромисс как смесь «монастыря» с «исламом».

Иисус не устраивал монастырей. Это сознательно делал только Будда, может быть, потому, что общество, с которым он столкнулся, еще меньше подготовлено было к реформам. Но сыновья Нового Адама нетвердо стояли на ногах: чтобы не затеряться, чтобы уцелеть, они уходили в пустыню, собирали своих за монастырской стеной. Оттуда они потихоньку светили миру (как Сергей Радонежский Дмитрию Донскому), там они хранили душевный огонь для того дня, когда мир созреет, чтобы принять его. А для мирян, потерявших племенной завет, был создан ислам. Я называю «исламом» то, что яснее и проще других дал Мохаммед: систему заповедей, основанных на покорности одному для всех Богу. Закон такой же твердый, ясный, обязательный, как племенные, но приспособленный к неплеменному, детрибализованному миру.

К этому пришли все мировые религии, с чего бы они ни начали. Буддизм сперва был только монастырем, – но очень скоро появился «ислам» для мирян. Ислам был только «исламом», но суфийские братства, странствующие дервиши – своего рода монахи.

Средневековая комбинация «монастыря» с «исламом» была реалистическим выходом из положения. Она дала возможность подняться на новый уровень солидарности (буддийского мира, христианского мира, мира ислама), позволила создать стройную систему культуры, охватившую своим влиянием все слои общества, и консолидироваться после духовной разрухи античных империй. Но потом история свернула. Старый путь оказался тупиком. «Ислам» сковывал развитие личности. «Монастырь» давал ей только одну дорогу – вверх, а требовалось шире, свободнее развернуться и на плоскости. Это движение разрушило готическую постройку.

Когда говорят о кризисе религии, практически имеется в виду, что средневековая структура (сожительство «монастыря» с «исламом») не годится для Нового времени. Это верно. И дело не только в том, что «монастырь» или «ислам» испортились. Нам не стало бы легче, если бы вдруг в первоначальной чистоте возродился ислам первых четырех праведных халифов. Праведные халифы с удвоенным рвением возобновили бы войну с неверными, и ко многим антихристам, обещающим спасти мир, истребив своих врагов, прибавился бы еще один. А у нас, как известно, достаточно спасителей, готовых уничтожить вселенную, лишь бы восторжествовали их принципы, и так как современный интеллект создает множество принципов (а следовательно, и проектов спасения человечества), мир и без нового Омара или Петра Пустынника достаточно близок к гибели. Что же касается монастырей, то какая-то форма самосохранения тонких и хрупких организмов, возможно, опять возникнет; но какой она должна быть? Этого мы не знаем, и простое сохранение или возрождение старых форм вряд ли достаточно.

Снова, как в древности, возникло сожительство людей, вышедшее за рамки старых духовных единств, национальных и религиозных. Снова до зарезу нужна нравственная интуиция, всеми заброшенное Царство Божие внутри человека. Снова не хватает солидарности для решения самых элементарных вопросов. Академик Сахаров посчитал, что для того, чтобы не допустить массового голода и катастрофических общественных судорог в третьем мире, надо обложить развитые страны огромным налогом, но даже налог в 1%, предложенный Горовицем несколько лет тому назад, серьезно не рассматривался. Разумность этого проекта никто, конечно, не оспаривал, но, чтобы принять его, надо опять поставить человека выше субботы (коммунистической, капиталистической, расовой – любой), нужно возлюбить не только союзников – ибо «так поступают и язычники» – но и врагов. Без выхода на новый уровень

солидарности современные проблемы неразрешимы. Наука может описать современные болезни, вылечить их она не в силах.

И вот оказывается, что мы переросли только популярное средневековое понимание христианства и буддизма, а до того духовного и нравственного уровня, на котором свободно парили Иисус и Будда, нам еще очень-очень далеко. Если бы мы доросли чуть повыше, хотя бы до колен, – самые неотложные вопросы были бы решены.

Не будем спорить, какая вершина выше и как они друг к другу относятся. Но если христианский мир станет хоть немного более христианским, а буддийский мир – буддийским, восприняет надежда на выход из тупика.

Вся запутанность, абсурдность нашего времени в том, что мы пытаемся решать проблемы двадцатого века так, как они решались в девятнадцатом (и раньше: с эпохи Возрождения): опираясь на достигнутый нравственный уровень, принимая его как данность. Мы пытаемся действовать как Фауст, не замечая, что фаустовская эпоха кончилась, что для развитых стран она исчерпана, что Новое время стало старым. И нужно, как в кошмарном сне, проснуться и освободиться от представлений, потерявших связь с реальностью. Если нет выхода на плоскости интеллекта, это просто значит, что надо подняться на новый духовный уровень, посмотреть на горы, которые кажутся неприступными, сверху.

В этой работе есть свои интеллектуальные задачи. Одна из них, над которой, как мне кажется, стоит подумать, – задача скрытого имама. По шиитской легенде, мессия (скрытый имам), объявившись, не принесет нового закона (это противоречило бы исламу), но даст новое толкование всех прежних пророчеств, прояснит их духовное единство – и вражда между «народами книги» исчезнет. Если хорошо выполнить эту задачу, отпадет много недоразумений. Станет ясно, что сегодня нет внутреннего спора между иудаизмом Мартина Бубера, католицизмом Генриха Бёлля и индуизмом Рабиндраната Тагора: между ними может быть установлен духовный, ценностный контакт, – но есть очень существенная разница между христианством св. Франциска и св. Доминика: разница духовного уровня. Очень важно понять, что различия духовного уровня важнее различий языка, а к единой вершине, к единому свету пусть каждый двигается своим путем. Только так можно внести единство в современное, почти бесконечное разнообразие индивидуальностей (национальных и личных). Одного вероисповедания на современный мир не хватит, слишком этот мир пестр. Но главное не то. Главное не во внешней интеллектуальной возможности диалога, а во внутреннем духовном сдвиге. Главное – зашевелится ли хоть слегка тот самый слой под- или надсознания, который откликается на подсказку «сверху» и дает силы бороться с шепотом преисподней.

* * *

Это задача не для ученых, не для мыслителей, не для святых, а для каждого. Наша повседневная жизнь создает нравственный климат, в котором рождается Событие. Я не думаю, что от дьявола можно отсидеться, размышляя о положении пучков в многомерном пространстве. Это ему нипочем. Существует простой механизм, описанный в старину как первородный грех. Среднему человеку, захваченному делами, заботами, болезнями, бегством от скуки и пр., болотные огоньки ближе, чем заря, звезда, Бог. Почва, предоставленная самой себе, родит скорее сорняки, чем пшеницу. Маленький принц каждое утро обходил планету и выдергивал баобабы. Он говорил, что баобабы, разросшись, могут разорвать планету на части.

Если мы будем рассчитывать, что все само собой образуется, без нас некому будет помочь Богу.